НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

НЕПОКОРЕННАЯ КОРЕЯ

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

НЕПОКОРЕННАЯ КОРЕЯ

Стихи

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА, 1951

Осенью прошлого года вместе с группой деятелей советского искусства мне довелось побывать в Корее. Мы объехали почти всю северную часть страны, видели тучные рисовые поля, вдохновенный труд рабочих на фабриках и заводах, упорную учебу в школах и университетах.

Прошел год. Волчья стая Уолл-стрита сожгла, растерзала, растоптала страну. Американские радиопередачи о событиях в Корее начинаются барабанным боем — точь-в-точь, как начинались некогда гитлеровские передачи. И все-таки, несмотря на всю боль, которую испытываешь при мысли о страданиях необычайно талантливого и честного корейского народа, грохот вашингтонских барабанов не может вызвать ничего, кроме язвительной усмешки.

Они еще умолкнут, эти хвастливые барабаны!

Я видел корейский народ. Я глубоко, всем сердцем, верю: он будет свободным, победа будет за ним!

О мирном труде корейского народа накануне войны, о его мужестве, о его страстной любви к свободе хотелось мне рассказать. Этот рассказ не полон, но он идет от чистого сердца, он создан во имя победы корейского народа, он продиктован страстным желанием, чтобы эта победа пришла как можно скорее.

Автор

Ноябрь 1950 г.

МЕЖ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ

В ЯПОНСКОМ МОРЕ

Прибоем в тусклых скалах порская,
срывая шхуны с якорей,
о камни плещется Японское —
свирепейшее из морей.

Отсюда в исступленье яростном,
в крови купая плоский штык,
шел самурай под желтым парусом
на азиатский материк.

Скуласт, очкаст, блестя неистово
зубами, желтыми, как медь,
он не жалел ножа и выстрела,
спускал, как пса цепного, смерть.

Но в час возмездья, сам подкошенный
свинцом советского стрелка,
лежал он, этот гость непрошенный,
здесь, на краю материка.

Так было. И навряд ли стоило
страницы старые листать,
когда бы кое-кто историю
не вздумал снова двигать вспять.

Когда б опять из утра хмурого,
в часы прилива и росы,
не выли в штабе макартуровом
для травли вскормленные псы.

Чадя пиратскими линкорами
у всех долгот, у всех широт,
они б хотели с непокорными
по-гангстерски свести свой счет.

Но звездным миллионноглазием
сквозь сумрак тучи грозовой
глядит в просторы мира Азия
и видит путь свободный свой.

И в муку прошлого проклятую
ее не ввергнуть никому —
ни Уолл-стриту,
ни Макартуру,
ни даже черту самому!..

Меж тем и шторм и ночь кончается,
и, долгожданная вдвойне,
заря октябрьская качается
на ослепительной волне.

Октябрь 1949 г.

УТРО В ПХЕНЬЯНЕ

Тедонган, Тедонган,
тишина и покой,
розоватый туман
над рассветной рекой,

мост, как синяя тень,
темных барж караван.
Начинается день
над рекой Тедонган.

Краски неба чисты.
Луч, художник земной,
крыш драконьи хребты
тронул охрой и хной.

Застя масляный свет
нешироκой спиной,
первый встал силуэт
за бумажной стеной.

Покидает семья
остывающий кан.
Входит утро в Пхеньян.
К берегам Тедонган.

Сто и тысячу лет,
первых шумов полно,
пробужденье и свет
приносило оно.

Но все так же сверкал
над прохладой живой
самурая оскал,
штык его ножевой.

Этот город лежал,
перечеркнутый им,
зубы накрепко сжав,
скручен лихом лихим;

этот город вела
нищета сквозь века,
как на пашню вола,
как в тюрьму бедняка...

Но сломалась в свой срок
сталь чужого штыка.
Заалелся восток,
как румянцем щека,

ветер в рощу вбежал,
в птичий врезался хор,
солнца блещущий шар
в город катится с гор.

Засверкал обелиск
на горе над водой,
где колосья сплелись
с пятикрылой звездой.

Газ прибавил шофер,
громыхает трамвай,
парус в небо простер
полыхающий край.

И, свободна от всех
чужеземных оков,
жизнь рассыпала смех
в перекличку гудков,

песню с делом свела,
стала с юностью в ряд,
огоньком расцвела
по глазенкам ребят.

По большому пути,
встретив дня торжество,
ей отныне итти,
не боясь ничего,

в хор вплетаясь один,
в гул родных голосов,
от китайских равнин
до московских лесов.

Так, развеяв туман,
с горных круч и полян
входит утро в Пхеньян,
к берегам Тедонган.

Октябрь 1949 г.

У НАМПХО

Дорога у Нампхо была,
как порошок, бела,
и на вершинах дальних гор
закат разжег костер,
и пепел с охрой пополам
с той каменной гряды
спускался к рисовым полям,
на тонкий слой воды.

А мой шофер, мой спутник Цой,
взволнован без причин,
гнал так, что только свист и вой
летел по следу шин,
что только верст переполох
да белый свет ручьем.
Он гнал и пел. А я не мог
понять, не знал, о чем.

О юности ли, что зажгла
огни в озерах глаз?
О девушке ли, что ждала
его в вечерний час?

О тихих реках, где прилив,
смывая ил и хлам,
с зарей, певуч и говорлив,
приходит к городам?
А может, пел, видавший сам
достаточно невзгод,
про партизанский Пектусан,
про боевой поход?

Сложны законы языка,
но сердцу моему
была та песенка близка,
не знаю почему:
не потому ль, что далеко,
за десять тысяч верст,
есть край, где дышится легко
при свете зимних звезд;
что за громадой синих гор,
за пламенем костра
мне виделся полей простор,
жемчужный блеск Днепра;
что гул и свет Москвы родной,
часов кремлевских бой
живет во мне, идет со мной
на широте любой?

Так пой, шофер, мой спутник Цой,
пой песню и гони
сквозь этот сумрак голубой
на близкие огни,
гони и пой, а я пойму,
не зная языка:
отчизна сердцу моему,
как твоему, близка.

Мы честь свою сквозь чащу лет
и мужество свое
несем на этот вечный свет,
на вечный зов ее!

1949

ВОНСАН

В Японском море рев тайфуна,
на якорях дрожат суда,
на бивни скал, вздыхая трудно,
летит кипящая вода,

и, заштрихованы туманом,
не видя неба и земли,
дрейфуют горы под Вонсаном,
что каменные корабли.

А город, как пловец отважный,
неукротим в труде своем.
Он видел бури не однажды
и не однажды слышал гром,

и, к подвигам готовый ратным,
не кланяясь чужим штыкам,
он знает: по путям обратным
не течь ни рекам, ни векам.

Он может в пепел превратиться,
лежать в развалинах года,
но и тогда не покорится,
рабом не станет и тогда.

Не сдастся, даже погибая,
и не отступит ни на шаг, —
недаром, как вода живая,
шумит и плещет красный флаг,

недаром в лица всем тайфунам
с высоких арок и со стен,
слегка прищурясь, взглядом умным
глядит отважно Ким Ир Сен!

1949

ТАНЦУЕТ ЦОЙ СЫН ХИ

День ушел в далекие края,
меркнет крыш драконья чешуя,

пики дальних гор обведены
голубым свечением луны,

дремлет рис на зеркале воды,
у корней — горошина звезды.

Теплый воздух розоват, как чай;
ветер тронет ветку невзначай,

пошуршит в бумажное окно,
поглядит, — а за окном темно,

свет потушен, кан не подогрет,
вещи дома, а хозяев нет.

А среди селения — помост,
свет прожектора и гроздья звезд.

На траве на корточках народ,
трубки в рот и головы вперед

жены — стайками, одна к одной,
локти вниз, младенцы за спиной.

Добрый сверстник временам седым,
дрогнул первой нотой каягым [1]

и повел за звуком новый звук,
будто слышен ливня перестук,

ветер в скалах, буря на реке,
мерный шум прибоя вдалеке.

И глядит и видит вдруг народ:
лодка партизанская плывет,

а на ней оружье. А кругом
пена волн, и молнии, и гром,

и старик кореец у руля
не поймет, где небо и земля,

и вода, что смешана с огнем,
языками пламени на нем.

Но скрипит, но бьет волну весло
вверх, и вниз, и вверх — всему на зло.

И глядит и судит так народ:
— Кто гребет, тот в волнах не умрет!

---

[1] Каягым — старинный народный инструмент.

А затем победа — вот она,
в хороводный круг заплетена,

где народной армии солдат
с поселянкой пляшут в ряд да в лад...

Ночь луну в ущелье увела,
каягыма выкрики глухи,

посреди корейского села
допоздна танцует Цой Сын Хи.

А быть может, это жизнь сама
в полном блеске силы и ума

сказ ведет на улице села
про свои надежды и дела,

в голубой долине Туманган
бьет призывно в красный барабан!

1949

В ПОЛЕ

Все поле — как чайное блюдце:
в работе себя горяча,
здесь негде конем развернуться,
косой размахнуться с плеча.

И все же на маленьком этом
клочке
от зари до темна
шумит, полыхая под ветром,
стоит золотая стена,

и словно в несмелом вопросе —
достоин ли дар за труды? —
склоняются риса колосья
на тонкой подставке воды.

И разве что обликом странен,
но так же, как наш, деловит,
по-русски мне «здравствуй» крестьянин
в полях под Нампхо говорит.

И я, перевидевший много,
стою и дивлюсь без конца.
Бежит по долине дорога,
свиваясь в четыре кольца,

лучей навесная основа
сквозь облако падает в сад...
А он разъясняет мне снова,
что слышал то доброе слово
от наших веселых солдат.

В полдневном пылающем поле,
где ветер да риса стена,
мила ты была мне до боли,
родная моя сторона!

Мила за улыбку вот эту,
за мужество в смертном бою,
за песню, подобную свету,
за мудрую правду твою,

за то, что в пути своем новом
не с горем и чадом войны —
идешь ты с приветливым словом
к народу чужой стороны!

1949

АРИРАН[1]

— Ариран, — поют здесь, — Ариран..
У подножья
ветер да туман,
выше — камень,
выше камня — льды
с отраженьем солнца и звезды.

— Ариран, — поют здесь, — Ариран...
Полюбил —
пройди через туман,
через дикий камень,
через лед:
наверху тебя награда ждет.

Кровь и пот прольешь, но с высоты
полземли
окинешь взглядом ты,
на высотах подвига
поймешь,
как живешь и для чего живешь.

---

[1] **Ариран** — легендарная гора в Корее. Кто взошел на нее, освободится от страха, познает любовь, будет видеть далеко вокруг.

А поймешь — внизу оставишь страх,
будет в прах
любой повергнут враг,
будет все,
чего коснешься ты,
порождать надежды и цветы.

Видно, был в народе свой пророк,
что сложил ту песню
людям впрок,
что учил их,
живших в нищете,
о цветах мечтать и высоте.

День встает над кручей Мангедан,
поредел туман
над Туманган,
от Хечжу
до пиков Пектусана
блещет рис и шепчет гаолян.

Блещет рис, и блещут пики гор,
и, ветрам и льдам
наперекор,
не боясь опасностей
и ран,
смелые идут на Ариран.

Декабрь 1949 г.

ПРИТЧА

Город ветров — Сенгджин,
город стали — Сенгджин,
над вершинами гор
холод снежных седин,

над вершинами их,
так, что ломит глаза,
облаков золотых
поднялись паруса.

Сталевар Ким Сан О
к их привык высоте,
он взглянул на окно,
на вершины на те,

поглядел и сказал:
—Я к примеру возьму:
этих каменных скал
не сломить никому.

Ни один чужанин,
ни один человек
солнце с этих вершин
не достанет вовек!

Эти горы — народ,
солнце — правда его...
Кто умен, тот поймет
смысл сравненья того.

А полезет дурак
из-за моря да к ним —
больше будет в горах
лишь скелетом одним...

Улыбнулся и смолк,
обнял взглядом простор.
Запах соли и смол
веял с моря и гор,

и один на один
с блеском снежных седин
спорил громом своим
город стали — Сенгджин.

1949

ПЕЛА ДЕВОЧКА

Пальцы тоненькие по струнам,
хитрецой глазок осиян, —
пела девочка в Синыйчжу нам,
пела песенку поселян.

Будто ветром полдневным вея,
свежим ветром с большой реки,
вел припев ее: «Хей-я! Хей-я!» —
от строки до другой строки.

И казалось — поля шумели,
колосились вокруг поля,
и дороги под солнцем млели,
красноватой пыльцой пыля,

и виднелись за чашей сцены,
с пустырями вступали в спор
городов и селений стены,
спины рек и седины гор.

Крошка, чижик темноголовый
в пыльных улицах Синыйчжу, —
снова лето в полете, снова
цвесть цветку и свистеть стрижу.

Только, может, в минуту эту,
не успев ничего понять,
сиротой ты идешь по свету,
на пожарище ищешь мать,

и плывет над судьбой моею,
дни и ночи звучит во мне,
как рыдание: «Хей-я! Хей-я!» —
песня девочки в той стране.

1950

МЕЖ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ

К мостам поставив караул,
тревожно спит Сеул;
луна, ущербная слегка,
зашла за облака,
да ветер падает к ногам,
да светится роса,
да вдалеке шумит Ханган,
качая паруса.

А пыль еще теплым-тепла,
еще легка, как пух,
чуть завилась и поплыла
через поля на юг.
И два соседа с детских лет
в далекое село
идут, впечатывая след,
пока не рассвело,
пока ни рева бомб в ушах,
ни гула в небе нет,
пока не нужно, что ни шаг,
в дорожный лезть кювет.

К воде склонил головки рис,
чуть шепчет гаолян,

над тинистым ручьем повис,
как белый бинт, туман.
Затлел по трубкам огонек,
дымок в траве обмяк.
— А что, — сказал вдруг Ли Ги Ок,
а дальше что и как?
Я день и ночь в трудах, как вол,
за мною нет вины,
а на посев с окрестных гор
летит огонь войны.
Кому вода? Кому земля?
Когда покою срок? —
И смолк, бородку шевеля,
крестьянин Ли Ги Ок.

За полночь глуше шум ветвей
и гуще облака,
лежит страна меж двух морей
в конце материка,
лежит, не сделав миру зла,
и сам народ на ней
вершить, решать свои дела
желает, как верней.

А в море дымы с трех сторон,
а в ясном небе гром,
а теплый берег опален
железом и огнем,
и на Кымгане танков гуд,
чуть брызнет свет дневной.
И два крестьянина бредут
страной далекой той.
Бредут между ночных долин,
меж рисовых полей,

и разговор у них один —
все о судьбе своей.
А что судьба? Судьба — земля,
ее ж как раз и нет!

А Пак Ван У: — Крестьянин я,
и мой отец, и дед.
Чтоб сеять рис, веревка есть,
есть руки, чтобы жать,
а мой надел — как раз на весь
двумя ногами стать,
а у помещика земли
двенадцать тысяч ри [1].
Теперь в народе слух идет
по краю по всему,
что землю Ким Ир Сен дает,
да некогда ему:
опасен, труден путь войны,
не счесть смертей и ран,
солдаты из чужой страны
ползут через Пусан.
Война посевы наши бьет,
метет пожаром сплошь.
Пока земле черед дойдет —
того гляди, помрешь.

Бредут неспешно Пак и Ли,
пыльца ложится вслед.
Село родимое вдали
приметило рассвет,
круглятся крыши, как стога,
синеет частокол.

---

[1] Ри — мера длины.

гнездо воронье на рога
поддел дубок, как вол.
А по селу, а по всему,
с ворот и до ворот,
нивесть зачем и почему
волнуется народ,
трещат бумажных окон лбы,
качая жидкий свет.

Бой? Так, похоже, нет стрельбы.
Пожар? Так дыма нет.
Поди с разлету разберись,
а сердце, как всегда,
ёк — и летит куда-то вниз,
стучит: а вдруг беда?

Бегут тропинкой Ли и Пак
меж рисовых полей
взглянуть скорее, что и как,
все разузнать скорей.
Но улыбается сосед, —
а это добрый знак.
— Вот и для нас пришел рассвет...
— Как так?
— А просто так...
А чтобы жить с достатком всем,
чтоб всё кругом — для нас,
дает нам землю Ким Ир Сен,
и вот его указ!

— Читай-ка, Пак!
— Читай-ка, Ли!
— Да свет замстил глаза!..

А солнце прямо из земли
взлетает в небеса.
А стебли риса — как штыки,
а в гаоляне звон,
а Ким Ир Сен ведет полки
на Рири и Теджон!..

Август 1950 г.

НЕ ПОКОРИТСЯ!

Землею доброй и отрадной
она прошла передо мной;
синели дальних гор громады,
леса шумели стороной,

и на реке, расправив парус,
как по серебряной тропе,
под свежим ветром просыпаясь,
скользила к устью нарупе [1],

и в круглом зеркале залива
плыл отражением завод, —
его из праха терпеливо
поднял и оживил народ.

И в первый раз за полстолетья
крестьянин в поле пел о том,
что правда есть на белом свете,
что и достаток входит в дом,

что жизнь — как рис при дружных всходах
и только тем омрачена,

[1] Нарупе — парусная лодка.

что Трумэном судьба народа
на две судьбы разделена:

здесь — свет, там — новых тюрем тени
и разоренное жилье,
и в сатанинском нетерпенье
о камни звякает ружье, —

банкирской шайкой окаянной
дано наемнику, оно
рукою из-за океана
Корее в грудь наведено.

Спускался в горы теплый вечер,
и моря Желтого прилив,
косыми бликами расцвечен,
все рос, певуч и говорлив,

и в доме за стеной бумажной,
с семьей своей наедине,
о дне грядущем думал каждый,
как о хорошем, мирном дне.

Стих вечер, сумеркам покорный,
звезда скатилась в гаолян,
и чей-то голос, силы полный,
пел песню смелых — «Ариран»...

Быть может, бомбой из Нью-Йорка
уже убит мечтатель тот;
быть может, ветер лета горький
над тем селеньем пепел вьет,

и мать лишь год назад, не боле,
назвавший мамою впервой,
лежит тот мальчик в дымном поле
с простреленною головой,

и гаолян в огне клубится...
А в Вашингтоне в этот час
поджарый президент-убийца
на карту пялит рыбий глаз.

Он по всему земному шару
готов сегодня гнать солдат,
и множить казни и пожары,
и тыкать бомбы наугад.

А я, упрямым фактам веря,
одно бы мог сказать ему:
свой путь познавшая Корея
не покорится никому!

1950

ДРУЗЬЯМ

Полдень. Под бомбами даль дымится,
пышет огнем сухим,
пламя и пепел бросает в лица
добрым друзьям моим.

В рисовом поле южней Сеула
в этот, быть может, миг
небо, раскалываясь от гула,
падает вкось на них.

Но, вопреки огню и туману,
глубям рек вопреки,
прямо к Андону, прямо к Пхохану
движутся их полки.

Братья, друзья мои! Путь ваш труден, —
только иным не быть.
Мечется в ярости Гарри Трумэн,
Трумэн вопит: — Убить!

Что ему ваши поля и села,
кровь ваших честных ран,
горы Йондока, Южная Чолла,
солнечный край Кенсан?

Будь же он проклят! Глядите смело
правде в глаза, друзья, —
честное дело, правое дело
сжечь и убить нельзя.

Пусть содрогается он, убийца,
в теплом своем дому, —
ни позабыться, ни откреститься
гнев наш не даст ему!

Август 1950 г.

ТАК БУДЕТ!

До слез тяжелы, до рыданья
в пожарищах края всего
простого народа страданья,
великие муки его.

Мертвы города и селенья,
огонь по жилищам погас,
и в сумерках слышен сильнее
оружия дьявольский лязг,

разрушены древние дамбы,
и говор заводов затих,
и ржавчина в рыжие лапы
грабастает остовы их.

И, может быть, казни той нету,
чтоб смыть хоть отчасти вину
безумцев, задумавших эту,
затеявших эту войну.

И, может, еще не сказали
народы им слов роковых,
и, может, еще не связали
той петли, что свяжут для них.

Но до́ллара сила тупая
не властна над сердцем страны,
еще ей скулить, отступая,
на всех перепутьях войны,

еще им стоять на коленях,
заморским воякам тупым,
еще до конца в преступленьях
виниться и каяться им.

И тот, кто склерозные веки
прищурив, погнал их сюда,
кто бредил войной на Уэйке,
не сможет уйти от суда.

За муки народа простого,
за горькие слезы сирот
возмездье с штыком часового
их к виселице подведет,

и все против мира походы
припомнят и впишут в итог,
и плюнут в лицо им народы,
и выбьют скамью из-под ног!

1950

МОРАНБОН — ГОРА ОСВОБОЖДЕНИЯ

Пхеньян под бомбами дымится,
огонь и кровь на мостовых,
а я как будто вижу лица
друзей и сверстников моих.

Превозмогая полдня жжение,
сквозь половодье духоты,
мы на гору освобождения
несли корейские цветы.

Плыл зной в просторах необъятных,
рябила золотом река,
на шапки гор голубоватых
наслаивались облака,

и толп веселых вереницы
шли бесконечной чередой...
Пхеньян под бомбами дымится,
в Хынгнаме бой, в Хамхыне бой,

и черный дым плывет по ветру...
Но жив народ! И снова он
свою отпраздновать победу
придет сюда, на Моранбон.

Как воин, порохом пропахший,
снимая швы с заживших ран,
еще светлей, просторней, краше
внизу раскинется Пхеньян.

И от лазурных вод Пусана
до этой славной высоты
поднимет утро из тумана
колосья мира и цветы!

1950

НАКАНУНЕ БОЯ

Перевод с корейского

Ким Де Гю

СЛОВО К СТАЛИНУ

Свежий ветерок издалека
белые приносит облака.
Я, поэт корейский рядовой,
взгляд на север обращаю свой —
над Россией вижу солнца свет,
золотой над краем голубым.
Посылаю свой ему привет,
голову склоняю перед ним.

Это солнце рушит в мире тьму,
в будущее путь им озарен,
Сталин — имя гордое ему,
другу всех народов и племен!
Это имя учит, как беречь
родину, что сердцу дорога,
это имя блещет, словно меч,
повергая на землю врага!

Много в мире бедняков простых,
юных и с зимою в бороде,
это имя — свет надежды их,
их опора в битвах и труде.
Это имя песнями встает,

и на все лады и голоса
повторяет имя то народ,
горы, и долины, и леса!

Лег мой край на много тысяч ли[1],
и на каждой — пепел, мрак и кровь,
Сталин снял с лица моей земли
окровавленный ее покров.
Погляди — под небом голубым
мирных хижин вьется мирный дым,
пролетает ветер молодой,
тучный рис колышет над водой,
на листве пылает жаркий луч,
будто пишет летопись побед...
О, как светел край мой и могуч,
солнцем ласки сталинской согрет!

Слышу: шум рождается кругом,
знаю: это не весенний гром,
это гул строительных работ.
И, корейский рядовой поэт,
всю любовь народа моего
я вложу в горячий мой привет,
Сталину в Москву пошлю его,
как поклон от всей родной земли,
что впервой за многие века
увидала пламя той зари,
где не застят света облака!

1950

---

[1] Ли — мера длины.

Мин Бен Гюн

У РЕКИ ДЯРЕН

На сотни верст под крыльями зари
раскинулась долина Намури [1].
Земля тучна, куда ни оглянись —
шумит и шепчется созревший рис.
Но по реке сверкающей сюда
с японским знаком движутся суда.
Они привозят к пирсам пристаней
чиновников и шустрых писарей,
и рис, привычно взятый на учет,
весь в трюмы чужеземные течет.

Когда ж к исходу горестного дня
чиновников стихает беготня
и окрики продажных подлецов,
садятся пахари без слез, без слов
в соломенных лачугах, чтоб решить,
чем накормить детей, как дальше жить,
чем подогреть похолодевший кан,
когда морозный поплывет туман...

Сварить бы хоть чумизы, но и та
ростовщиком проклятым отнята,

[1] Намури — Долина изобилия.

купить бы, — да за что ее купить,
когда гроша работой не скопить!
Под одеялом рваным в полумгле
мечтай в слезах о сказочной земле,
где степь, где ни обрывов, ни вершин,
где колос гаоляновый в аршин.

Дярен, моя родимая река!
Когда чернели белые шелка
зимы и начинался ледоход,
к тебе опять тянулся мой народ.
Ты, как ребенка струи молока,
к себе опять тянула бедняка,
и чуть на склон Сентябрьская гора
впускала травы, ливни и ветра,
опять трудились люди дотемна,
опять ложились в землю семена,
и, нагнетая животворный сок,
тянулся к солнцу рисовый росток.

Но снова осень камышовый пух
гнала, как снег, на сотни верст вокруг,
и вновь, тоскуя, проклинал народ
тех, кто не трудится, а все берет.
И ты,
родимая река Дярен,
и ты сдавалась льдам в тяжелый плен,
и я, поэт, забыв веселый стих,
опять рыдал на берегах твоих...

Дярен,
о милая река Дярен,
мы дождались однажды перемен,

над крышей пахаря, как на крылах,
парил, шумел свободы нашей стяг.
Земля — тому, чей в землю льется пот,
кто сеял сам, тот сам и соберет!..

О ты, Дярен, — как светлая волна!
Да будет вновь земля моя вольна,
чтоб паруса над синевой твоей
и грузы в трюмах — все в подарок ей,
чтоб пела ты, волной смягчая зной,
о солнце, засиявшем над страной!

1950

Ким Сан О

ДРУГ

Улицей иду я неширокой,
хлопья снега падают вокруг,
словно весть из той страны далекой,
где живет мой незабвенный друг.

Знал он наш язык и наши песни,
приходил к нам, как к родне родня.
В Сталинграде он или в Одессе —
все равно он близко от меня.

Может быть, что, под руку с любимой,
по снежку, огнями осиян,
он идет по улице родимой,
напевая песню «Ариран».

И, о расстояньях забывая,
я несу по улицам ночным
«Широка страна моя родная...» —
песню, что певали вместе с ним.

С этой песней, на весну похожей,
что к мечте и творчеству зовет,
каждый день возле моих окошек
проходил его веселый взвод.

На вокзале жал я другу руку,
проводил, а чудится: вот-вот
он навстречу мне по переулку,
улыбаясь дружески, пойдет...

Напишу письмо я до рассвета
и пошлю... Куда? Куда-нибудь!
Если друг живет в Стране советов,
вся земля к нему укажет путь!

1950

Гу Чен

НОЧЬ ПЕРЕД БОЕМ

Над городом тумана клочья,
соленая, густая тьма;
приплюснутые лапой ночи
к земле, сгибаются дома,
деревья ежатся от страха,
как пасть кита, стены пролом.
И вдруг огонь мигнет из мрака
и выстрел грянет за углом
и, как лавина вырастая,
летит и тьму в лоскутья рвет...

Здесь порт Иесу. Здесь восстанье.
Здесь за свободу встал народ.
И в небе, словно уголь черном,
на ярко-огненных крылах,
народной кровью освященный,
республики взлетает флаг.
Встань и прислушайся, не веря
тупой всесильности свинца, —
здесь пеплом мести вся Корея
стучит, стучит, стучит в сердца
и, затаившись, ждет сигнала,
чтоб с этим мраком заодно
убийц, наемников доллара,

отправить в землю и на дно!
Гремевший чуть не сутки кряду,
храпит у школы грузовик,
торчат из кузова приклады,
к ребру ребром притерся штык, —
из полицейского участка
они. Испробует вдвойне
южнокорейское «начальство»
ту сталь на собственной спине!

Рабочий, командир отряда,
из кузова грузовика
дает винтовки. Тут бы надо
состав, да нет его пока.
И сотни грузчиков портовых
стоят, покачиваясь в лад, —
они хоть сутки ждать готовы,
чтоб ощутить в руках приклад.
И одному из них, седому,
придавленному грузом лет,
советуют:
— Сидел бы дома. —
А тот:
— У гнева дома нет!

— Страшна, старик, войны наука...
— Мой страх под палками забыт...
— Тебе бы дома нянчить внука...
— Внук не рожден, а сын убит.
Уважь седины и печали,
дай мне оружие...
— Бери!
Как мутный блик в остывшем чае,
над морем проблески зари.

И, жизни трудную науку
в порту постигнув лет с пяти,
мальчишка тоже тянет руку
к ружью.
— Эй, мальчик, отойди!
— Дай мне!
— Винтовок больше нету,
ты подожди...
— Я подожду!

А дело близится к рассвету,
а корабли трубят беду, —
и слышен дикий вой снаряда,
и пламя прыгает кругом,
и кто-то падает, и рядом
трещит, в дыму качаясь, дом.

Но, над огнем и громом рея,
крик, что возник издалека,
все ширится:
— Вон из Кореи,
американские войска!

Так ночью в улицах Иесу,
кромешный мрак взорвав и взрыв,
взошли штыки, подобно лесу,
и прозвучал борьбы призыв,
и толпам всяческого сброда,
что в трюмах шлют, как сытый скот,
не преградить пути
народа,
что смело двинулся вперед!

1950

КИМ ИР СЕН

Поэма

1

Приветлив, радушен, спокоен,
с прищуром улыбчивых глаз,
сидел он, беседой доволен,
и слушал внимательно нас,

и сам говорил: что скорее
все сделать бы надобно им,
чтоб стало искусство Кореи,
как там, как у нас, боевым,

что нужно работать балету,
что надо учиться певцам,
что жалко вот времени нету —
он всюду поездил бы сам,

и не в государственном чине,
со всеми на равной ноге,
послушал бы песни в Ченгджине,
спектакль посмотрел бы в Канге.

А после, покончив с делами,
кивнув на окно головой,
спросил, кто охотник меж нами,
и рад был, что есть таковой.

И тут же сказал не без грусти,
рукой как бы тронув курки,
что прямо станицами гуси
кочуют в долинах реки.

Что стать бы сейчас у болота,
что пить бы глазами простор,
следить, ожидая пролета,
как вечер спускается с гор,

как, с встречным течением споря,
плавник под зарей опалив,
к верховьям из Желтого моря
проходит по рекам прилив,

как, песни вечерние слыша,
желта, круглолика, полна,
сияньем на травы и крыши
корейская брызнет луна.

Мы, кажется, долго сидели
за этой беседой живой.
Деревья от рос поседели,
ручьи зашептались с травой,

и ветер по сопкам Кореи
летел, тормоша гаолян,
от тридцать восьмой параллели
до светлой реки Амнокан.

И был глубоко я взволнован,
что он ни движеньем бровей,
что он ни намеком, ни словом
не выдал печали своей.

А нам рассказали дорогой
суровую правду одну —
что после болезни недолгой
на днях потерял он жену,

и, может быть, девочки дома
притихли и плачут о ней...
Нам всем это горе знакомо,
и нет того горя больней.

Какая же надобна сила,
чтоб браться чуть свет за дела,
чтоб сердце все скорби вместило,
а воля железной была!

Он был воплощением этой,
идущей вперед до конца,
частенько на взгляд неприметной,
бестрепетной воли бойца,

он был воплощением воли
крестьян, что с темна до темна
без отдыха трудятся в поле,
чтоб лучше питалась страна,

он был воплощением силы
рабочих, чья сметка и пот
для новой судьбы воскресили
депо, и забой, и завод.

И чудилось — в маленьком зале,
где Сталин смотрел со стены,
то шорох колосьев, то стали
звенящие громы слышны,

и чудилось — двери стучали,
шаги шелестели, и вот
входил и стоял за плечами
древнейший и мудрый народ —

не тот, о котором историк
писал, что он беден и дик,
а тот, что плотины построил,
за городом город воздвиг,

что миру сказать свое слово
пришел и назад не уйдет,
что спину расправил и снова
ее никогда не согнет!..

Здесь, перед лицом неминучих
грозящих из-за моря бед,
был сын его, лучший из лучших,
таланта и мужества цвет.

И вот, заключая по ходу
беседу, он встал у стола:
— Ну как, не собрать на охоту?
— А вы?
— Не пускают дела.

— А может, не выйдет порухи? —
Потрогал значок на груди:
— Нельзя... Беспокойно на юге,
сорвутся, того и гляди.

У них там грызня, как на псарне,
народу ж — хоть в петлю... —
И вдруг

взглянул он сухими глазами
сквозь стены, сквозь версты — на юг,

и вдруг за беседу впервые,
за два с половиной часа,
наполнились скорбью живые
и гневом сверкнули глаза.

2

Красна и желта эта осень,
раскинулась пламенем вширь,
вся в медленном стуке колесном,
в летящем шипенье машин,

в подсолнухе, в скрипе капустном,
в неярком шелку паутин,
в том запахе, милом и грустном,
что все совмещает один.

Немало на разных широтах
нам видеть уже довелось
холмов в желто-красных разводах
и листьев, порхающих вкось,

и стала для нас постепенно
привычной в мелькании лет
зеленого цвета замена
на красный оттенок и цвет.

Но здесь, где к хатенке ограда
сбежала, уткнувшись в порог,
слышнее шумок листопада,
негромкий его говорок,

и мнится — в ветвях полуголых
устроили осы жилье,
и кажется пачкой иголок
на рисовом поле жнивье,

и хлопок белеется, будто,
забыв свои сроки сама,
широкие грядки негусто
присыпала снегом зима.

А хата — как всякая хата,
дымка над трубой маята,
и крыша по мерке поката,
и глина на стенах желта;

кувшин на колу краснолобый,
ведерко на пальце гвоздя,
порожек, где надобно обувь
оставить, в жилище входя.

По чести, та самая хата —
не лучше беднейшей на вид,
и то еще мало понятно,
как хата такая стоит.

Что̀ бомбы грохочущий ужас, —
такой гаоляновый дом
плечами, чуть-чуть поднатужась,
не трудно порушить вдвоем!

Мы в юности жили и сами
в хатенках, что книзу росли,
где ветер гуляет пазами,
где пол не светлее земли,

загнети черны и щербаты,
углы с безысходной тоской.
Но даже и те наши хаты —
палаты в сравненье с такой.

Здесь бедность на крайнем пределе
от века командует всем;
одежды — всего, что на теле,
а риса — как раз на посев,

а страшная пища былого,
тюремная пища почти, —
стакан гаоляна гнилого
да бледные листья кимчи.

И мы открываем, волнуясь,
бумажную легкую дверь,
вводящую в детство и юность
того, кто прославлен теперь.

Здесь рос он, здесь бегал когда-то,
здесь сквозь синеватый туман
смотрел он на парус крылатый
над вольной водой Тедонган

и, скорбный напев рулевого
услышав, вздыхал тяжело,
и душу то горькое слово
рыданьем угаданным жгло.

И здесь же, где тропки кривые
петляют вперед и назад,
он встретил однажды впервые
кургузых японских солдат.

Когда бы несчастьям и бедам
явиться в обличье одном —
они бы явились вот в этом,
бесстрастном, жестоком, тупом.

В них, медленным шагом идущих,
он тех без труда узнавал,
кто резал пра-прадедам уши,
кто деда на цепь приковал.

Ни стон, ни слеза, ни молитва
не тронут сердец их пустых,
холеры и энцефалита
страшнее нашествие их...

В тот полдень, тревожный и жгучий,
по краю отцовской земли
кого-то под рыжую кручу
они на расстрел увели.

И после, дождливою ночью,
сквозь шорохи ветра и волн,
он видел тот выстрел воочью,
он слышал приглушенный стон...

Так, если во все здесь вглядеться,
над трудной подумать судьбой,
увидишь, как кончилось детство
дорогою в юность и в бой,

дорогой к снегам Пектусана,
к борьбе, к управленью страной...
А осень шумит неустанно
за тонкой саманной стеной,

и тропкой, нагретой и торной,
сюда из глухого села
приходит селянка, которой
народная власть помогла,

толпятся студенты степенно —
десяток безусых юнцов, —
им честную жизнь Ким Ир Сена
хотелось бы взять образцом.

Рабочий с завода Сенгджина,
с Японского моря рыбак
на тропке, что многих сроднила,
белеют холстами рубах.

И в счет не беря расстоянье, —
к ста верстам не в тяжесть верста! —
всех чаще на хату крестьяне
приходят взглянуть неспроста:

все здесь оглядев и потрогав,
они, поседевши в пыли,
свой вывод несут по дорогам:
— Он наш!
— Из крестьян!
— От земли!

И вдруг, открывая всю душу
навстречу открытым сердцам:
— Как жизнь нашу сделать получше,
с ним Сталин беседовал сам!..

В корейской приземистой хате,
что спрятала крышу за склон,

наглядней нам стала, понятней
та сила, какой он силен:

сквозь все эти тяжкие годы
подполья, сражений, труда
он шел из народа к народу,
он жил его думой всегда,

и рухнет гора, и скорее
река породнится с огнем,
чем сломится воля Кореи,
в живом воплощенная в нем!

3

На севере есть Пятигорье,
что высится, звездам грозя,
и место на свете другое
сравнить с этим местом нельзя.

Там озеро, — Глазом Небесным
зовется в народе оно, —
то странным наполнится блеском,
то станет, как полночь, темно.

Кто видел хоть раз эти пики,
мерцанье загадочных скал,
тот вечности холод великий,
безмолвие смерти познал,

и тех, кто проник в эти скалы,
кто полз по расселинам их,
напрасно в долинах искали,
напрасно считали в живых:

в них вымерзла кровь, и на лица,
что свет нестерпимый обжег,
голубенький иней слоится,
лохматый ложится снежок.

А он с партизанским отрядом
однажды прошел этот ад,
и вечность, синевшая рядом,
его отпустила назад.

Пять суток, шесть суток, семь суток
японцы травили их след,
и путь был неведом и жуток,
а глянешь — другого и нет.

Так волчья голодная стая
хрипит и смыкает свой круг,
и мечется, зубы оскаля,
и к горлу бросается вдруг.

Сражались бойцы, и все выше
их вел командира приказ,
туда, на Небесную Крышу,
к Небесному Глазу как раз.

Теряя последние силы,
иные, чтоб кровь отогреть,
уже Ким Ир Сена просили
послать их на верную смерть —

дорваться к японцу, сцепиться
и, схватку закончивши ту,
в обнимку с ним в пропасть скатиться,
ледком становясь на лету.

Тогда на привале коротком
сказал он усталым бойцам:
— Та легкая гибель не впрок нам,
я это сумел бы и сам!

Не смолкнет с того пулемет их
и сабля не ляжет в ножны.
В Корее достаточно мертвых,
Корее живые нужны!

И мы не вольны над собою,
хоть эта минута черна.
Команда над нашей судьбою
народу всему вручена.

Пусть каждый сочтет свои силы,
что стали с народными в ряд,
пусть каждый на свет из России
помножит те силы стократ,

и если найдется, кто правду,
кто смысл этих слов не поймет, —
пусть он не мешает отряду,
пускай он идет и умрет.

Кто первый?.. — И люди молчали.
— Я вижу, желающих нет!.. —
А звезды на небе мельчали
и гасли, вплывая в рассвет,

и в час, когда солнце остыло
над глыбами каменных гряд,
спустился по кручам и с тыла
громил чужеземцев отряд.

И там, в поднебесной пустыне,
где вечность безмолвие льет,
быть может, лежат и поныне
японцы те, вмерзшие в лед,

и, может быть, — кто поручиться
рискнет нынче в деле таком, —
еще и с другими случится,
что в месте случается том!..

А ныне в корейском народе
расскажут немало легенд
о том легендарном походе,
о битвах и славе тех лет,

и в каждой из них непременно
поймешь и почувствуешь ты
бестрепетный ум Ким Ир Сена,
железной натуры черты.

4

Где нынче он?
Нету ответа.
Свиреп, волкодаву под стать,
хотел бы всех больше про это
Макартур сегодня узнать.

Хотел бы он знать, — и недаром! —
что думают Вождь и Народ,
каким они завтра ударом
ответят во фланг и во фронт,

что встанет из гула и лязга
в просторах сожженной страны...
Пхеньян — не конец, не развязка,
Пхеньян — только фаза войны.

Пусть бьет Вашингтон в барабаны,
пока президент не оглох, —
но рано пока еще, рано
сводить тот последний итог.

В ослиную шкуру когда-то
лупил барабанщик другой,
чтоб после распухнуть от яда
во мгле подземелья глухой.

Другие хвалу себе пели
в стране, в части света иной,
чтоб после в веревочной петле
хрипеть, истекая слюной.

И ходит Макартур в смятенье,
неясной тревогой томим,
и вечер скелеты и тени
ведет и ведет перед ним.

А листья уже догорели,
а иней играет с травой,
а скоро в ущельях Кореи
метелей послышится вой,

и, море ворочая трудно
валами, что снега белей,
ударит громада тайфуна
в армады его кораблей.

А где-то в минуту вот эту
меж скал, что грозят свысока,
сквозь снежные залпы к Тибету
идут по ущельям войска.

А там, где о берег крутая
волна с завыванием бьет,
к Тайвану громада Китая
рванется громами вот-вот,

а там, еще дальше Китая,
где пулями полдень прошит,
игрушечный трон Бао-дая
совсем не на шутку трещит,

а дальше, нацелившись в спину
продажным лакеям, в свой срок
спускают курок Филиппины,
Малайя спускает курок.

И ходит в тревоге Макартур
походкой своей заводной,
мусолит военные карты, —
но нет между ними одной,

нет той, где, рассчитанный верно,
нацелил удар острие.
Та карта в руках Ким Ир Сена,
и страшно значенье ее,

страшны те резервы и сроки,
тот, где-то намеченный, час,
тот план, те железные строки,
что лягут в короткий приказ!

Работает радар бессменно,
радисты у раций сидят,
листва, словно желтая пена,
обрызгала ноги солдат,

и падают янки на камни,
подрезаны пулей в упор
в захваченном ими Пхеньяне,
на склонах пылающих гор.

И, может быть, только повестка
разгрома, что близок уже,
их гибель, их новое бегство
на том, под Анчжу, рубеже,

где танк спотыкается, словно
в упор ослепленный огнем,
где тащат крестьяне шпиона,
скрутив сыромятным ремнем.

А где-то в горах под Ыйсоном,
свинцом партизанским зажат,
в ущелье, снежком занесенном,
карателей гибнет отряд.

И тщетно Макартур гадает,
над картой клонясь у окна,
что завтра его ожидает,
чем кончится эта война,

война, где любая хатенка
презреньем захватчика жжет,
свинец посылает в потемках,
гранату в запас бережет.

5

Далече корейские дали,
грозой горизонт заслонен,
но мне две войны подсказали,
где нынче находится он,

и схватка у стен Сталинграда,
и степь Приднепровья в дыму...
Он там, где по должности надо,
он там, где виднее ему!

Но если поверить отчасти
солдатской легенде святой,
приходит он запросто в части
в шинели и шапке простой,

и сам, не спеша, честь по чести,
прищурив внимательный глаз,
обследует, все ли на месте,
в достатке ли всякий припас.

А в роте соседней как будто,
засунувши руку в карман,
он шел у окопов под утро
и вроде как пел «Ариран»,

пел тихо, а все ж из-под ветра,
тянувшего вровень с травой,
той песни два лучших куплета
расслышал один рядовой.

Еще говорят — под Пхеньяном
в минуту тяжелую он,

на солнце всходящее глянув,
водил на прорыв батальон,

и страшной атака была та
для янки. А он: — Погоди!
Та плата — еще не расплата,
расплата еще впереди!..

А многие видели сами,
как он, поседевший в дыму,
медаль под обстрелом в Вонсане
вручал смельчаку одному.

Еще говорят, что в Хыннаме,
задетый осколком слегка,
он поднял пробитое знамя
в штурмующей цепи полка,

еще его будто встречали
в нелегких боях у Нампхо,
еще говорят, что ночами
он ходит вдоль фронта всего,

что с ним еще два партизана,
которых в далекий тот год
в снегах и во льдах Пектусана
он вел в легендарный поход...

Не знаю, где был он и не был,
где шел он, от пыли седой,
не знаю, где быль и где небыль
в солдатской легенде святой,

но знаю: в бескрайных просторах
сожженной и скорбной земли

готовит он силы, которых
в заморских штабах не учли,

но знаю, что поздно иль рано,
макартурам всем вопреки,
еще с высоты у Пхеньяна
направит он к югу полки.

И снова заморским воякам
бежать на Каннын и Сувон
под тем опозоренным флагом,
что числится флагом ООН,

и солнце покажется черным,
и пламенем кровь на снегу,
и вновь им тонуть под Инчоном,
в могилы сходить под Тэгу,

и тот, кто под гром барабана
последним придет на войну,
в зеленой лагуне Пусана
пойдет, словно камень, ко дну.

Недаром сквозь слезы и горе
во всей фронтовой полосе
несется от моря до моря:
— Мансе Ким Ир Сену!
— Мансе!

Недаром, надеждами грея
сердца истомленные все,
по всей раздается Корее:
— Мансе Ким Ир Сену!
— Мансе!

Бесстрашно, бессонно, бессменно
на благо народа всего
работает мысль Ким Ир Сена,
железная воля его.

В полях, где гремят батареи,
где танки ползут к городам,
на Юг и на Север Кореи
сегодня идет командарм,

все видит, все слышит, все знает,
и цель намечает одну,
и в битву страну поднимает, —
не роту, не полк, а страну.

И пусть еще праздника нету
в краю, что снарядами взрыт, —
в минуту тяжелую эту
уже он провидит победу, —
так сердце мое говорит!

Август — ноябрь 1950 г.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3

МЕЖ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ

В Японском море 7
Утро в Пхеньяне 9
У Нампхо 12
Вонсан 15
Танцует Цой Сын Хи 17
В поле 20
Ариран 22
Притча 24
Пела девочка 26
Меж рисовых полей 28
Не покорится! 33
Друзьям 36
Так будет! 38
Моранбон — гора освобождения 40

НАКАНУНЕ БОЯ

Ким Де Гю — Слово к Сталину 45
Мин Бен Гюн — У реки Дярен 47
Ким Сан О — Друг 50
Те Ги Чен — Ночь перед боем 52

КИМ ИР СЕН *(поэма)* . 55

Редактор *А. Жаров*

Художник *К. Буров*
Худож. редактор *И. Николаевцев*
Техн. редактор *Н. Потемкин*
Корректор *Л. Лапирова-Скобло*

А01628. Сдано в набор 9|I 1951 г.
Подписано к печати 14|III 1951 г. Бум. л. 1,25 печ. л. 3,42. Авт. л. 2,05. Уч.-изд. л. 2.25. Формат бумаги $70\times108^{1}/_{32}$.
Заказ 47. Тираж 20 000 экз.
Цена 2 руб.

Гип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.